

Американский опыт Нины Берберовой

Ольга Демидова



Многие русские парижане, выброшенные ходом истории из России, прожившие во французской столице два межвоенных десятилетия и создавшие там свое «государство вне государства», были вынуждены вновь эмигрировать после немецкой оккупации Франции в 1940 г. Америку они воспринимали как страну повторного изгнания, а переезд туда ради спасения жизни — как второй исход. Значительная их часть покидала Европу с намерением вернуться сюда после окончания войны, однако это удалось единицам. Тех, кто возвращался на короткое время в качестве туриста или жил «на две страны», также было немного. Для большинства из них Америка так и не стала «новой родиной». В этой роли в их сознании выступала Европа, которая до войны тоже ощущалась как место изгнания, но из заокеанского далека представлялась чем-то обжитым и «своим». В массовом сознании сложился иерархически организованный аксиологический стереотип, чьи составляющие располагались слева направо по убывающей и имели тем большую ценность, чем дальше отстояли во времени и «географии»: Россия — Европа (Франция) — Америка [см. подробнее: Demidova 2006].

История жизни Нины Берберовой в США и отношение ее к этой стране существенно отличаются от данного стереотипа. Прежде всего, важен момент ее отъезда из Франции: Берберова эмигрировала через пять лет после окончания войны. Это был ее собственный сознательный выбор, а не результат «следования за обстоятельствами»: «Вся цепь пассивных следований за обстоятельствами и активных шагов, менявших ткань жизни, закончилась для меня самым важным, самым осмысленным и самым трудным сознательным выбором, который я когда-либо делала в жизни: уехать в США» [Берберова 1996: 543–544].

Казалось бы, «казус Берберовой» можно рассматривать именно как эмиграцию — в отличие от вынужденного массового бегства из Европы начала 1940-х годов, продиктованного непосредственной угрозой жизни. Но и для Берберовой переезд в Америку был бегством, но бегством иного рода. В книге «Курсив мой» [Берберова 1996] она скрупулезно анализирует причины, в силу которых решила покинуть Францию. В их числе — «невозможность... материально свести концы с концами в Париже после войны», утрата того *esprit de corps*, который объединял ее с ее кругом,

страх грозившего «небытия» — «личного и общего», отсутствие «интеллектуальной пищи», что «прямым путем вело ... к духовному голоду и обывательщине», наконец, «победа-поражение в личной жизни, от которой хотелось бежать» [Берберова 1996: 546, 548, 550]. Берберова периода «Курсива» полагала, что решающую роль сыграла третья из указанных причин. Однако можно предположить, что в конце 1940-х годов она не предавалась столь детальному анализу и воспринимала положение дел скорее эмоционально, чем рационально (при всем присутствии ей рационализме), сформулировав его для себя «по Ходасевичу (1*)»: «Здесь не могу, не могу, не могу жить и писать» [Берберова 1996: 258]. Вся совокупность обстоятельств послевоенной парижской жизни, вошедших в этот перечень и оставшихся «за скобками», включая и печально известное «дело Берберовой» [см., напр.: Гуль 2001: 127–128; Яновский 1983 (указат. имен); Будницкий 1999: 141–173; Гаухман 1995: 284–290], словно выталкивала ее из Парижа, вынуждая уехать, чтобы уцелеть.

Много лет спустя Берберова напишет о «радуге обертонув», заключенных для нее в этом понятии: «от животного “не быть съеденным” до античного “самоутверждения перед лицом уничтожения”, от инстинктивного “как бы не попасться врагу” до высокого “сказаться еще одним последним словом”» [Берберова 1996: 176]. Вероятно, принимая самое трудное в своей жизни решение, она учитывала их все, поскольку от шага, который обдумывала, зависело «не то и не это» в ней, а она сама [Берберова 1996: 546].

Основываясь на письмах к Вере и Борису Зайцевым (2), с которыми Берберо-

ву на протяжении нескольких десятилетий связывала самая нежная дружба, можно предположить, что окончательное решение она приняла не ранее середины лета 1950 г. В июле Берберова пишет Зайцевым из Парижа в Вандеу, что ехать в Америку ей «совершенно не хочется» [БАР, письмо от 17 июля 1950 г.], а в открытке от 12 сентября того же года сообщает, что уже получила американскую визу. 10 ноября она отправляет им открытку с парохода, на котором плывет «в огромном море-окияне», и, наконец, 16 ноября — первое письмо из Нью-Йорка.

«И тогда появился впереди город»

Путешествие из Европы в Америку продолжалось пять дней, и утром шестого дня корабль вошел в гавань Нью-Йорка. Впоследствии, воссоздавая в «Курсиве» свою первую встречу с городом, Берберова обыгрывает символичность этого совпадения: «И вот на шестой день, на заре, передо мной возник город. Он был узок и высок, как готический храм, и вокруг него была вода, и в легком тумане ноябрьского утра, или даже — конца ночи, он возник вдруг, незаметным толчком отделившись из невидимого в видимое» [Берберова 1996: 554–555]. В первом письме Зайцевым непосредственное впечатление от увиденного она передала так: «Город потрясающий, ни на что не похожий. Некоторые кварталы напоминают Стокгольм, помноженный на сто. /.../ Если бы вы видели эти улицы, залитые огнями, после которых Большие бульвары кажутся деревней, эти небоскребы, кот<орые> необычайно красивы, величественны и придают городу какой-то марсианский стиль» [БАР, письмо от 16 ноября 1950 г.].

* В круглых скобках указаны номера комментариев автора, помещенных в конце статьи. — *Ред.*

В этом описании, при всей его типичности (город ошеломляет), есть, однако, деталь, мало характерная для отзывов о Нью-Йорке людей ее круга и поколения: при сравнении его с европейскими столицами предпочтение отдается не им. Вместе с тем «старые» столицы все еще жили в ее памяти, выступая неким фоном для восприятия города, по которому Берберова «бродила» «до умопомрачения» [БАР, письмо от 17 июня 1953 г.]. Так она когда-то бродила по Петербургу, в котором родилась, Москве, где оказалась ненадолго волей судьбы и не сумела прижиться, и Парижу, ставшему ее домом на двадцать пять лет. Теперь ее прогулки существенно отличались от тех, что были в юности, когда она «тоскливо смотрела в московские и парижские окна». Она ходила по Нью-Йорку, «пожирая глазами все, что можно было пожрать, не углубляя своего «сиротства», а, наоборот, ощущая все время цель: борьбу и будущие завоевания — людей, друзей, города, страны, континента» [Берберова 1996: 559].

Во второй год нью-йоркской жизни произошли два «кризиса», которые Берберова отнесла к разряду галлюцинаций и объяснила причиной сугубо физиологического характера — тем, что она в это время «давала кровь» (вероятно, она намеренно прибегла к приему «снижения» во избежание мелодраматического эффекта). Первый «кризис» был связан с повторявшимся сном: «Кто-то приходил — и я радостно вставала ему навстречу, но он (или она) говорил: не сейчас. И исчезал. Или говорил: не сейчас, но через десять лет. Или ничего не говорил, поднимал руку и уходил». Второй «кризис» случился в незнакомом ей месте, недалеко от пересечения Бродвея с Чемберс-стрит: «на углу желтое здание было подперто белыми облупленными колоннами, и я увидела себя стоящей посреди Садовой, где-то за

Гороховой. И в ту минуту, когда я хотела уже *в полном сознании* подчиниться *кошмару наяву* и повернуть к Екатерининскому каналу, чтобы выйти на Казанскую, я поняла, что это вовсе была не Садовая, а угол улицы Рокетт и бульвара Пармантье (курсив мой. — *О.Д.*)» [Берберова 1996: 568].

Если отвлечься от навязываемого автором иронического восприятия, процитированные пассажи объяснить достаточно легко. Очевидно, бывшая жизнь, не желая быть окончательно «вытесненной», властно вторгалась в жизнь настоящую и — отчасти — будущую; образы городов, в которых прошла первая, выталкивались подсознательным, накладываясь «картинками» хорошо известных мест на свободное от ассоциаций, то есть не связанное ни с какой определенной «картинкой», незнакомое место нового города. Петербург, Париж и Нью-Йорк словно боролись за первенство в ее сознании. И, казалось бы, победа оставалась за Нью-Йорком, хотя бы в силу того, что он был то «здесь», с которым для Берберовой начала 1950-х годов было неразрывно связано ее «сейчас».

В цитированном выше письме Зайцеву от 17 июня 1953 г. (ее третий год в Нью-Йорке) Берберова слагает своего рода любовно-иронический гимн городу. В тот момент все городское многообразие оказалось для нее сведено к весьма значимому в культурной истории Нью-Йорка и литературно маркированному месту под названием Вашингтон-сквер. Вот как она описывает это место: «И есть некий «сад» — Вашингтон сквер — в сердце Гринвич Вилладжа, артистического квартала. Это большое несколько лысое место, где деревья, автобусы, триумфальная арка — копия чего-то, — где пахнет пылью, но где в воскресенье днем собираются люди и сидят внутри СУХОГО круглого фонтана,

кот<орый> никогда не действует. Этот фонтан приблизительно размером раза в два больше фонтана Конкорд — то есть, его лоханка. Там я и сижу иногда и смотрю на: мужчин, детей, собак. Среди всего этого вижу: толстые матери семейств в платьях без рукавов и выше колен, девочки, стриженные под мальчиков, девочки в штанах, с волосами до талии, 17-тилетние матери, бледные, катящие колясочку, в клетчатых брюках. В красных штанах хулиганки. Чинно одетые, в широких шляпах и кружевных платьях мужние жены; огромные негры, пуэрториканцы с гитарами; педерасты с умными, грустными лицами; мальчишки, младенцы, толстые маменькины сынки, калеки всех цветов, отцы семейств, клошары, подозрительные личности, художники с растрепанными волосами; курносые веснушчатые влюбленные; бульдоги, фоксы, лайки и пуделя; городской, мороженщик, бывшая блядь, две старые девы под ручку, одетые одинаково; красавицы-лесбийки; беременные в шляпах с пером и цветами; голдные девушки, чего-то ждущие; прозрачные юноши; еврейки, лежащие в объятиях молодых людей, шахматисты, музыканты, играющие тут же и поющие, друг другу не мешающие... Словом — интересное место этот самый Вашингтон сквер» [БАР, письмо от 17 июня 1953 г.]. Очевидна связь этого пассажа и с ритмической прозой А. Белого, и с поэзией В. Ходасевича («Когда с беременной женой / Идет безрукий в синема»), и с парижской прозой самой Берберовой.

Потом были другие города Америки, куда Берберова приезжала как туристка и где подолгу жила; было несколько возвращений в Европу: в Париж, в Италию, куда она в первый раз приехала с Ходасевичем и много лет спустя не раз возвращалась одна. Все они занимали определенное место в ее личной ценностной «иерархии

городов», группируясь, так или иначе, по принципу сходства-различия. Нью-Йорк не поддавался никакой классификации и оказывался сопоставим лишь с одним городом в мире: в нем тоже было «что-то *умышленное* и та единственная смесь функционального и символического, которая есть и в нашей бывшей столице. ...Водные пространства и особый свет, идущий от них, придают всему тот же характер призрачности и временности, или вневременности, или безвременности. Москва, Лондон, Рим, Париж стоят на месте. Ленинград и Нью-Йорк плывут, расставив все свои паруса, разрезая бушпритом пространство, и могут исчезнуть — если не в действительности, то в видении поэта, создающего миф, создающего мифическую традицию на основе почувствованного (курсив автора. — *О.Д.*)» [Берберова 1996: 555].

«Старые» и «новые»

В порту Нью-Йорка Берберову встретил Р. Гуль и привез ее к М. Цетлиной (З), снимавшей небольшую квартиру в одном из отелей. В этом же отеле Цетлина сняла комнату и для Берберовой, в которой та прожила первые десять дней. Как и в парижские годы, Цетлина устраивала у себя вечера, которые Берберова называла «сборищами», «где бывала перемешана публика литературная с вовсе не литературной» [Берберова 1996: 556]. Здесь она встретилась со многими старыми знакомыми, парижанами, и познакомилась с «новыми эмигрантами». И в письмах, и в «Курсиве» сопоставление «старых» и «новых» и противопоставление первых вторым занимает весьма значительное место.

Впервые «новые» открыто и тогда еще вполне беззлобно, хотя и не без иронии, противопоставлены бывшим парижанам в

декабре 1951 г.: «Были гости. Ди-Пи* (литераторы) пели хором каторжные песни, а старые эмигранты (Варшавский, Кодрянские, я, Яновский (4)) — говорили о возвышенном. У Мар<ии> Сам<ойловны> продолжаютя понедельник, на кот<орых> старых все меньше, а новых все больше, но пока еще хором не поют. Стараемся не допускать» [БАР, письмо от 12 декабря 1951 г.].

В письмах следующих лет отзывы о литераторах «второй волны» становятся все более резкими, порой — гротескными. Приведем некоторые из них. «О Корякове (5) скажу тебе так: толстый, лоснящийся от жиру, руки врозь (к телу прижать их уже не может), без шеи /.../ до болезненности завистлив и плачет настоящими слезами от успехов Рудольфа-Юрасова, кот<орый> ходит в роскошном пальте, в несгибающихся перчатках, от баб отбою нет и т.д. /.../ Правду скажу: новые друг друга ненавидят куда больше и вообще, конечно, примитивнее в социальных отношениях. /.../ У меня с ним не получается разговора — он мне никак не питателен. Говорит, что центр жизни есть БОРЩ и надо жить, как его деды жили в Сибири. А бабам вообще не след рассуждать (разрядка автора. — *О.Д.*)» [БАР, письмо от 29 января 1952 г.]. «Перенесите мысленно в Каширу, в 1885 год, и вы приблизительно поймете уровень, на кот<ором> живут люди» [БАР, письмо от 4 августа 1952 г.]. «Наши, новые эмигранты, Ди-Пи твою мать, говорю об “элите” — странные люди. Коряков “бизнес мэн”, много зарабатывает и собственно живет только для себя и семьи. Максимов (6) — с кем поговорит — с тем и согласен. /.../ Подлаживается. Его бог — Горький. Больше он ничего не любит. /.../ Все новые великолепно стоят на

ногах. Для них мы — непонятны; они очень безграмотны, не знают ничего, навыки у них странные, вид подчас бывает жуткий. Пьяницы» [БАР, письмо от 22 августа 1952 г.]. «Корякова не выдаю — отношения прохладные — страшно любит деньги, карьеру, ВСЕ для него — средство (конечно, и религия) — все его раскусили, но он не тужит и продолжает в том же духе. Максимов — молится на Горького, ему бы родиться 50 лет тому назад, был бы Скитальцем» [БАР, письмо от 29 мая 1953 г.]. «Коряков (поперек себя шире) хорошо служит. Максимов пьянствует и не платит налогов, за что его хотели посадить куда-то. Но обошлось» [БАР, письмо от 29 августа 1954 г.].

Своеобразный итог подведен Берберовой в «Курсиве» — в подчеркнuto безэмоциональном аналитическом пассаже, в котором сравниваются парижский и нью-йоркский «салоны» Цетлиной и собиравшиеся в них люди: «Вспоминалось острое словцо Ходасевича, что настанет для эмиграции день, когда литераторы будут сходить друг с другом по тому признаку, что еще способны распознавать ямб от хорея. Однако не все гости М<арии> С<амойловны> обладали этой способностью. Они, сказать правду, теперь не столько сходились, сколько отличались друг от друга весьма существенно. И разделялись по совершенно другим линиям, чем это когда-то было в Париже. Там прежде всего был раздел поколений, затем был раздел политический /.../ Там можно было почувствовать москвича и петербуржца или бывшего столичного жителя и провинциала, человека, прошедшего гражданскую войну, и человека, прошедшего университет. Здесь эти категории не существовали» [Берберова 1996: 575].

* Перемещенные лица. — *Ред.*

Самым типичным — и самым неприемлемым для себя — признаком «новых эмигрантов» Берберова считала тот «свой собственный, лично-семейный, складной и портативный нержавеющий железный занавес», который они привезли с собой, «повесили между собой и западным миром» и за которым жили по принципу «у нас в Пензе лучше», не доверяя новой стране и страшась ее, потому что она могла «подавить их национальную гордость». Впрочем, для Берберовой «сохранение пензенской психологии» являлось отличительным признаком американской ветви эмиграции в целом. По ее мнению, это объяснялось, во-первых, историческими различиями русско-французских и русско-американских связей; во-вторых, разной степенью «агрессивного потенциала» французской и американской культур; в-третьих, провинциальным происхождением американской части русской диаспоры [Берберова 1996: 576, 577].

К сожалению, «новые» литераторы на американской почве процветали, а «старые» все более уходили в тень. Сказывались возраст, усталость, неумение и нежелание вновь (в который раз!) приспособливаться к новым условиям, невозможность признать и принять многое в совершенно ином строе жизни и в резко отличившейся от привычной им системе ценностей. Не последнюю роль сыграло и то обстоятельство, что американские фонды оказывали «новым» существенную поддержку, особенно когда речь шла об издательской политике. Единственное крупное в те годы русское эмигрантское издательство — издательство им. Чехова — более охотно принимало к печати книги «новых эмигрантов», не всегда руководствуясь их художественными достоинствами. Политике этого издательства и положению дел в нем Берберова дала очень резкую характеристику: «Нужны только Ди-Пи — и больше

никто. Ремизов же, Зайцев, Бунин — это только благотворительность и они никому не нужны. /.../ Сирина “заставили” взять; если возьмут Газданова (7), то только потому, что у него дружеские отношения с Вреденом, директором. Яновского не взяли, Варшавского тоже (8). Зато дипитвоюмать (так! — *О.Д.*) берут даже таких, которые не имеют таланта на волос. Говорю это без горечи, ибо вижу, что “будущая Россия” воистину совершенно не нуждается в нас. И правые, и левые совершенно спокойно приписывают романы Бори — мне или Шмелеву; мои романы — Ремизову или даже Георгию Иванову (9). Но письмо Александровой (10), обращенное ко мне, в ответ на мое предложение издать Влади́н “Некрополь”, я сохранию для потомства. Приблизительное его содержание следующее (сокращая, но ничего от себя не выдумываю): “Многоуважаемая ЛИДИЯ Николаевна, мы согласны издать Некрополь господина Ходасевича если Вы придумаете к книге ‘ударное’ название”. Я сначала хотела написать, что я придумала ударное название: “НЕКРОПОЛЬ”, но потом решила ничего не отвечать. Вот вам стиль человека, который приглашен заведовать русским издательством» [БАР, письмо от 10 апреля 1952 г.].

Начиная с 1952 г. в рассказах Берберовой о бывших парижанах все отчетливее звучит мотив ухода — в мир иной, в мир частной жизни, в мир воспоминаний. Все чаще речь идет о прогрессирующей глухоте М. Карповича (11) и Цетлиной, о глухоте и слепоте А. Керенского (12); о том, как «старрики» постепенно отходят или оказываются отстраненными от дел; о том, как увеличивается их разрыв с внешним миром. Почти в каждом письме упоминается Г. Кузнецова (13) — увядшая, утратившая свою «фарфоровую» прелесть и интерес к жизни, опустившаяся, слабеющая физически. В цитированном

выше письме от 10 апреля 1952 г. Берберова с грустью пишет о том, что «русский мир уже кончился». Несколько месяцев спустя она предсказывает: «Крошечная кучка людей, кот<орая> меня здесь окружает, умеющая держать нож и вилку, знающая — хотя бы понаслышке, — что “Петербург” Белого довольно замечательная книга и что Саша Черный хуже писал, чем написан “Граф Нулин”, — эта кучка людей скоро рассыплется прахом, и от нее не останется даже воспоминания» [БАР, письмо от 4 августа 1952 г.]. Наконец, через два года следует печальное признание: «Да, Боря, даже я начинаю терять мою бодрость, энергию и жизнерадостность. Слишком мне становится ясно, “что к чему”, и будущее начинает иногда “сквозь магический кристалл” сверкать ужасными своими красками. /.../ Здесь — ни русской литературы, ни русской политики — или во всяком случае я не слышу и не вижу. Старые мудрые Абрамовичи (Николаевский) (14), Керенский и прочие — за семьдесят и начинают уставать), а новых мудрых нет. Всех “новых” устроили на службе американцы, и даже Юрий Елагин, музыкант, бросает свой оркестр, где играл на скрипке, и едет в Вашингтон в чиновники, не говоря уже о других, не музыкантах» [БАР, письмо от 29 августа 1954 г.]. На этом фоне вполне закономерно представляются нередкие упоминания о том, что круг русских знакомых Берберовой сужается, тогда как число американских — неуклонно растет.

Обретение себя

Берберова прожила в Нью-Йорке с середины ноября 1950 г. до середины сентября 1958 г., сменив за семь лет семь профессий. В «Курсиве» она дает им общую ретроспективную характеристику, предельно краткую, не указывая дат и называя толь-

ко три профессии из семи: «Некоторые из них были странными, другие очень банальными, третьи заставляли меня стараться изо всех сил...; с одной меня попросили уйти по причине моей неспособности. Одно время я была русским диктором на радио... В другой раз я работала вечерами на адресографе» [Берберова 1996: 558]. Лишь о своей недолгой службе секретаршей у отличавшейся экстравагантностью американки м-с Тум Берберова рассказывает в деталях (возможно, из-за необычности этой службы и многих связанных с ней забавных эпизодов) [Берберова 1996: 570–574].

В письмах Зайцевым, среди прочих новостей, Берберова сообщает о многочисленных изменениях мест своей службы. «Все лучше и лучше мне живется — суди сама: не сижу больше в дурацкой конторе целый день, а передаю в “Голосе Америки” “на воздух” — работа интересная, ответственная. Выполняю ее хорошо. Отнимает мало времени и дает скромный прожиточный минимум. Таким образом, я из пролетария опять стала “свободным художником”, встаю, когда хочу, читаю, пишу, думаю, сочиняю и пр., и пр.» [БАР, письмо от 27 марта 1953 г.]. «Мне недавно предложили “тренироваться” на довольно ответственную работу (в «Голосе Америки». — *О.Д.*)» [БАР, письмо от 17 июня 1953 г.]. «Я работаю, устаю, служу у довольно интересной особы секретаршей (вы можете себе представить, как я научилась языку, что печатаю письма по-английски!), особа эта лет 60-ти много путешествовала и занимается Африкой — синдикальным движением там и прочими рабочими делами. Три раза была в СССР в 30-ых годах. Я ее учу немного русскому. Вижу у нее интересных людей, рассматриваю их внимательно, говорю по-английски и вообще нахожу, что мне как-то занятнее с американцами, чем с русскими политиками (литераторов

мало осталось хороших!)» [БАР, письмо от 4 февраля 1954 г.]. «О себе скажу — очень меня выматывает служба. Одно утешение: работа интересная. Сколько через мои руки прошло старых русских книг! (для офильмования их — древняя культура, законченная и отодвинутая в историю, американские библиотеки хотят ее сохранить для будущего, как они делают с культурой инков)» [БАР, письмо от 29 августа 1954 г.]. «Я тоже служу “в конторе” — прихожу домой, занимаюсь английским, читаю книжки, иногда выдаюсь с людьми, но жизнь не та, что была в Париже, в том смысле, что все берегут свои силы, и я в том числе, и многих друзей отчасти теряешь потому, что нет энергии ехать далеко или тратить время на “посидение” — жизнь здесь очень суровая» [БАР, письмо от 30 января 1955 г.]. «Я работаю, служба интересная и требует “мозгов”, так что надеюсь, будет продолжаться» [БАР, письмо от 19 июня 1955 г.]. «Вот уже неделю, как я нашла себе чудное место, где не замучивают работой, где мило ко мне относятся, и где я себя хорошо чувствую. Это — в отрасли “социаль сервис”, чему по-русски перевода нет. Это большая здесь отрасль — все, что имеет отношение к слепым, детям, сумасшедшим, бездомным, просто неприспособленным к современной жизни людям, — называется “социаль сервис”. Люди идут на специальный факультет, получают диплом и затем составляют организацию, на всю страну одну (22 тысячи членов). Я служу в этой организации. Практически ни с какими “случаями” не сталкиваюсь, но сижу в центре, где мимо меня все это проходит» [БАР, письмо от 3 декабря 1955 г.]. И, наконец, Берберова сообщает о событии, радикально изменившем ее жизнь: «Пока что жизнь моя повернула в неожиданную сторону: без всяких с моей стороны потуг и усилий, один из больших американских университетов

(Иель) пригласил меня читать лекции по рус<скому> яз<ыку>. Находится Иель в городке Нью-Хевен, в полутора часах езды от Нью-Йорка, и на прошлой неделе я начала свою “профессорскую” деятельность. В будущем году буду, видимо, читать русск<ую> литературу или историю культуры. Сняла я там себе меблированную комнату и целый день работаю — с понедельника до пятницы утра. Пять часов лекций в день, а потом иду в библиотеку ... и там пишу, перевожу самое себя, читаю книги. Ложусь рано, потому что в 8 утра уже первая лекция» [БАР, письмо от 22 сентября 1958 г.].

Следующие несколько лет Берберова жила «на два дома», приезжая в выходные дни и в каникулы к мужу, выпускнику ленинградской консерватории пианисту Г. Кочевецкому. С ним она познакомилась в «салоне» Цетлиной в первый год своей жизни в Нью-Йорке. Здесь же вышла за него замуж в сентябре 1954 г. Впервые упомянув Кочевецкого в числе своих «ближайших» знакомых в письме от 17 июня 1953 г., она пояснила Вере Зайцевой, что он — «новый эмигрант», «но совсем особенный, вроде нас с тобой, а не вроде Корякова». Впоследствии Берберова писала в «Курсиве», что третье замужество помогло ей окончательно разрешить «визовый вопрос» и «урегулировать... незаконное положение в США», куда она приехала по временной «туристической» визе [Берберова 1996: 553]. Однако это не означает, что ее третий брак был заключен исключительно по расчету, хотя и браком по страсти он тоже не был (об этом свидетельствуют, в частности, письма середины 1950-х годов). «Муж, Г<еоргий> А<лександрович>, — писала Берберова, — милейший человек, характер дивный, живем дружно, но все совсем не так, как в молодости — свободно и вольно и вместе с тем слегка “алуф” — чудное американское

слово, “алуф” друг от друга, то есть на некотором расстоянии. Мы, между прочим, на “вы”» [БАР, письмо от 19 июня 1955 г.]. «Он уютный, культурный и приятный человек и совершенно не похож на нового советского хомуса. Живем мы очень дружно, но очень отдельно в смысле “профессиональном”. Обоим нам на пользу, что мы поженились» [БАР, письмо от 3 декабря 1955 г.].

Все вышеупомянутое — это внешняя, достаточно хорошо известная сторона нью-йоркской жизни Берберовой, жизни, богатой событиями, знакомствами и расхождениями с людьми, открытиями, надеждами и неизбежными разочарованиями (впрочем, о последних в «Курсиве» речь почти не идет, в письмах же о них рассказывается мимоходом). Если попытаться определить основные составляющие ее внутренней жизни — не на уровне подведения итогов, как в «Курсиве», а в режиме осмысления происходящего почти в «реальном времени», в письмах — то можно утверждать, что это были два неразрывно связанных и непрерывных процесса: обретения Америки и обретения себя.

Обретение Америки происходило на нескольких уровнях. Прежде всего, на уровне повседневности, за которой стояли своя история и своя система ценностей, проявлявшиеся в отношении американцев к жизни и друг к другу. Все было новым, далеко не все — понятным, многое — трудным, но Берберова ничего не отвергала априорно. Даже если ей не все и не сразу нравилось, она стремилась понять новую страну и — главное — была готова учиться у нее. При этом она неизбежно сравнивала ее с Европой: «Страна учит многому. Это не наш век, иной. Не сужу, лучший или худший, но совершенно новый. И это есть действительность, с кот<орой> нельзя не считаться. Здесь не существует прошлого.

Есть только будущее. Смерть зачеркивает человека — он перестает существовать. /.../ Религия здесь — только опора государства. “Священный огонь”, как и романтизм (идеология его) окончательно закончили круг существования. Очень важна “работа” — она двигает жизнь, частную и государственную. Много в людях широты, доброты, юмора, и особенно что поражает — интереса ко всему. Во Франции тебя никто не слушает, здесь каждый хочет чему-то от тебя научиться. /.../ Вообще во мне оказалась какая-то гармония со здешним миром. Теперь вижу, что галльский “юниверс” мне был все-таки чужой и я ему была чужая. Он меня питал, я благодарна ему, но я ближе тутошнему “ритму” внешнему и даже иногда внутреннему. Я думаю, здесь очень похоже на Россию-Германию-Швецию, столично-местечковобесцеремонно-гостеприимный дух, каждый делает, что хочет, но расположен ко всем» [БАР, письмо от 22 августа 1952 г.]. «Вообще никогда не употребляют слова “смерть” или “умер” — и предствавь, есть большое количество людей, которое никогда не называет болезнь, которой человек болен, ибо считается, что СЛОВО творит болезнь, ее удерживает, ее реализует. /.../ Я полюбила здесь протестантские кладбища — где нет холмиков, а есть сплошная трава, которая з а р а с т а е т и покрывает все. Мне иногда кажется, что необыкновенно сладко (почти сладострастно) чувствовать, как на тебе растет трава (разрядка автора. — *О.Д.*)» [БАР, письмо от 21 сентября 1953 г.].

В Нью-Йорке Берберова открыла для себя «ВЕЛИКУЮ англо-американскую литературу — целый мир!» [БАР, письмо от 29 мая 1953 г.], и это обстоятельство послужило одной из причин, изменивших ее отношение к «собственным писаниям». Вере Зайцевой Берберова объяснила, что у нее пропало желание творить «объективные

ценности» и все реже возникает потребность «субъективно» открываться [БАР, письмо от 21 сентября 1953 г.]. Борису Зайцеву она писала об этом более подробно: «Писать не хочется. Может быть, придет обратно это чувство “надо, чтобы из тебя это вышло”, но сейчас этого нет, а главное — только если оно будет неудержимым, я возьмусь за перо» [БАР, письмо от 29 августа 1954 г.]. Вернувшись через год к теме творчества, Берберова указала три причины своего молчания: «Первая: узнав за последние пять лет литературу англо-американскую, мне кажется все написанное мною — слишком малым, бледным и... не очень нужным. Я, так сказать, разочаровалась в себе и отчасти (зачеркнуто. — *О.Д.*) в современниках моего поколения. /.../ Вторая причина — язык. Вы будете протестовать, но невозможно писать, зная, что прочтут сто или тысяча человек. Сейчас читают миллионы — и хорошее, и плохое. Кроме того, русский читатель до того, простите меня, необразован (из новых, конечно, старых вовсе больше нет), что в его “линию” мне неинтересно и как-то даже невозможно попасть. /.../ Третья причина — самая, конечно, основная: мне больше не хочется “экстериоризироваться” — самое главное найдено, жизненно существенное и то, чего каждый человек ищет в своей жизни (зачеркнуто. — *О.Д.*) — ответы на основные вопросы; все это — внутри, и совершенно нет никакого желания положить это на бумагу, подписать фамилией и прочесть об этом критику Аронсона (15)! /.../ Вспоминаю и Алданова (16), кот<орый> считал, что цель каждого разумного человека — оставить след в две строки в Британск<ой> Энциклоп<едии>... Вот дурак! Как будто не все равно: исчезнуть через сто или миллион лет из памяти людей или просто через неделю после отбытия по ту сторону видимого» [БАР, письмо от 19 июня 1955 г.] (17).

Однако неожиданно обретенная новая профессия совершенно естественным образом помогла ей вернуться к старому занятию, которое, казалось, было оставлено навсегда. Через два года после приглашения в Йель у Берберовой появилась, наконец, возможность поехать в Европу — в первый раз после десятилетнего отсутствия. Именно там к ней вернулось то чувство «надо, чтобы из тебя это вышло», о котором шла речь в ее письме от 29 августа 1954 г. Из Европы она привезла замысел и название своей главной книги, которая была начата в 1960 г. в Йеле, завершена шестью годами позже в Принстоне (где Берберова преподавала с 1963 г.) и увидела свет сначала на английском (1969 г.), а затем и на русском языке (1972 г.). В последнем абзаце «Курсива» Берберова писала, что словно «снова вылупляется из яйца», рождаясь в четвертый раз и завершая, как ей тогда представлялось, череду отпущенных судьбой рождений: «один раз в четверть века /.../ сперва когда родилась, затем в 1925 году (когда она и Ходасевич решили не возвращаться в СССР. — *О.Д.*), затем в 1950-м» [Берберова 1996: 604, 594]. Ей казалось, что в этом четвертом — и последнем — рождении ей «предстоит жить в *ожидании тайн*, потому что все явное использовано и не осталось неизжитых сторон жизни (курсив автора. — *О.Д.*)» [Берберова 1996: 604–605]. Но Берберовой предстояло прожить еще более трех десятилетий, обрести многих учеников и последователей, написать еще две серьезные книги и стать живой легендой. Наконец, ей было суждено вернуться в ту «первую стадию» своей жизни, о которой она писала: «Возвращение в первую стадию для меня невозможно: в Россию я могу вернуться только по следам этой книги», — и в Ленинград, где, как она полагала, завершая «Курсив», ей «нет места» [Берберова 1996: 594].

комментарии

1. *Ходасевич Владислав Фелицианович* (1886–1939) — поэт, прозаик, переводчик, историк литературы, литературный критик, мемуарист; в 1922–1932 гг. гражданский муж Н. Берберовой; в эмиграции с лета 1922 г. (Германия), в Париже с апреля 1925 г.

2. *Зайцев Борис Константинович* (1881–1972) — прозаик, публицист, переводчик, мемуарист; летом 1922 г. выехал за границу, с сентября жил в Берлине, с конца декабря 1923 г. в Париже. Его жена — *Зайцева Вера Алексеевна* (урожд. *Орешникова*) (1877–1965).

3. *Гуль Роман Борисович* (1896–1986) — прозаик, литературный критик, киносценарист, историк, мемуарист; участник Белого движения; в эмиграции с декабря 1918 г. (Германия), с сентября 1933 г. — в Париже, с января 1950 г. — в Нью-Йорке; с 1959 г. — член редколлегии, в 1966–1986 гг. — главный редактор «Нового журнала».

Цетлина Мария Самойловна (урожд. *Тумаркина*, в первом браке *Авксентьева*) (1882–1976) — меценатка, издательница, общественный деятель; в эмиграции с 1919 г. (Париж), с ноября 1940 г. — в Нью-Йорке.

4. *Варшавский Владимир Сергеевич* (1906–1978) — прозаик, литературный критик, публицист, мемуарист; в эмиграции с 1920 г. (Прага), с 1926 г. — в Париже, с 1950 г. — в США.

Кодрянская Наталья Владимировна (урожд. *Фон Гернгросс*) (1901–1983) — детская писательница, историк литературы, мемуаристка; в эмиграции с 1919 г. (Женева), с 1927 г. — в Париже, с 1940 г. — в Нью-Йорке. Ее муж — *Кодрянский Исаак Вениаминович*.

Яновский Василий Семенович (1906–1989) — прозаик, литературный критик, публицист, мемуарист; в эмиграции с 1922 г. (Польша), с 1926 г. — в Париже, с 1942 г. — в Нью-Йорке.

5. *Коряков Михаил Михайлович* (1911–1977) — историк, публицист, журналист, мему-

арист; родился в Сибири, в конце 1930-х годов окончил Московский институт философии, литературы, истории (МИФЛИ); служил в 1941–1945 гг. в советской армии, после Второй мировой войны работал в советском посольстве в Париже; с весны 1946 г. невозвращенец, в 1950 г. переехал в США.

6. *Максимов Сергей Сергеевич* (настоящая фамилия — Пашин) (1916–1967) — прозаик, поэт, драматург, мемуарист; родился в Поволжье, с 1923 г. проживал в Москве; с 1934 г. — студент Литературного института им. М. Горького; в 1936 г. арестован, находился до 1941 г. в заключении, с осени 1941 г. — на оккупированной территории (Смоленск), арестован гестапо, шесть месяцев провел в тюрьме; в 1943 г. уехал в Германию, в июне 1949 г. переехал в США.

7. *Сирип* (настоящее имя — *Набоков Владимир Владимирович*) (1899–1977) — прозаик, поэт, историк литературы, мемуарист; в эмиграции с 1919 г. (Англия), с конца 1922 г. — в Берлине, с осени 1938 г. — в Париже, с мая 1940 г. — в США, с осени 1961 г. — в Швейцарии.

Газданов Гайто (Георгий) Иванович (1903–1971) — прозаик, литературный критик; в эмиграции с ноября 1920 г. (Константинополь — Галлиполи), с зимы 1923 г. — в Париже, с 1942 г. участник французского сопротивления; в 1953–1971 гг. сотрудник радиостанции «Свобода»; умер в Мюнхене.

8. Справедливости ради необходимо отметить, что работа В. Варшавского «Незамеченное поколение» была, в конце концов, принята издательством и вышла в свет в 1956 г.

9. *Шмелев Иван Сергеевич* (1873–1950) — прозаик, публицист, мемуарист; в эмиграции с ноября 1922 г. (Берлин), в Париже с начала 1923 г.

Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) — прозаик, драматург, литературный критик, публицист, мемуарист; в эмиграции с лета 1921 г. (Таллинн — Берлин), в Париже с ноября 1923 г.

Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) — поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, мемуарист; в сентябре 1922 г. командирован в Берлин, в Советскую Россию не вернулся, с августа 1923 г. жил в Париже.

10. *Александрова Вера* (настоящее имя — *Шварц Вера Александровна*, урожд. *Мордвинова*) (1895–1966) — литературный критик, издательница, мемуаристка; жена меньшевика С. Шварца-Моносозона; в январе 1922 г. эмигрировала с высланным мужем в Берлин, с 1933 г. жила во Франции, с 1940 г. — в Нью-Йорке; в 1952–1956 гг. — главный редактор издательства им. Чехова.

11. *Карпович Михаил Михайлович* (1888–1959) — историк, публицист, мемуарист; с мая 1917 г. до лета 1922 г. — сотрудник посольства в Вашингтоне, с 1923 г. жил в Нью-Йорке, в 1927–1957 гг. преподавал русскую историю в Гарвардском университете; с 1943 г. — соредактор, в 1945–1959 гг. — главный редактор «Нового журнала».

12. *Керенский Александр Федорович* (1881–1970) — государственный и политический деятель, с июля по август 1917 г. — премьер-министр Временного правительства; в эмиграции с лета 1918 г., с начала 1920-х годов — в Берлине, с 1924 г. — в Париже, с осени 1940 г. — в США.

13. *Кузнецова Галлина Николаевна* (в первом браке *Петрова*) (1900–1976) — прозаик, поэтесса, переводчица, мемуаристка; последняя любовь И. Бунина; в 1927–1942 гг. (с перерывами) жила на вилле Буниных в Грассе, в 1949 г. со своей подругой певицей М. Степун уехала в США.

14. *Николаевский Борис Иванович* (1887–1966) — историк революционного движения, архивист, публицист, мемуарист; в январе 1922 г. выслан из Советской России, жил в Берлине, с 1933 г. — в Париже, с 1940 г. — в США.

15. *Аронсон Григорий Яковлевич* (1887–1968) — общественный и политический деятель,

публицист, журналист, мемуарист; писал также на английском и идиш; в 1922 г. выслан из России, жил в Берлине, в 1930-х годах — в Париже, с 1940 г. — в США (Нью-Йорк); «критика Аронсона» — критика вульгарно-социологического характера.

16. *Алданов Марк* (настоящее имя — *Ландау Марк Александрович*) (1886–1957) — прозаик, публицист, историк, литературный критик, драматург; писал также по-французски; родился в Киеве; в эмиграции с апреля 1919 г. (Одесса — Константинополь — Париж), с весны 1922 до весны 1924 гг. жил в Берлине, затем вернулся в Париж, с декабря 1940 г. — в США (Нью-Йорк); в 1942 г. совместно с М. Цетлиным основал «Новый журнал»; в 1947 г. вернулся во Францию (Ницца).

17. Через тридцать с лишним лет, когда к Н. Берберовой пришли, наконец, настоящий успех, широкая известность и признание, она отдала дань той «суете сует», за пристрастие к которой смеялась над М. Алдановым. Приведем отрывок из воспоминаний Ю. Добровольской о последней встрече с Берберовой, произошедшей в Филадельфии в начале 1990-х годов: «Нина то и дело отвлекалась:

– Открой новый Ларусс на букву Б: увидишь, перед Бердяевым, Булгаковым и Буниным теперь стоит Берберова!

Или:

– Взгляни на афишу французского фильма «Аккомпаниаторша»! Ты видишь, какими мелкими буквами эти наглецы набрали имя автора рассказа?

Немного погодя, снова:

– Открой Ларусс на букву Б...

Теперь, когда пришло признание и благосостояние, такую инфантильно-триумфальную реакцию давала многолетняя, незаслуженная, обидная безвестность» [Добровольская 2006: 228].

примечания

БАР — Архив русской и восточноевропейской истории и культуры (Бахметевский) Колумбийского университета. Ms Zaitsev. Catalogued Correspondence. Berberova.

Берберова Н.Н. 1996. Курсив мой: Автобиография. М.

Будницкий О.В. 1999. «Дело» Нины Берберовой //

«Новое литературное обозрение», № 39.

Гаухман Ю. 1995. Из архива Софьи Юльевны Прегель / Публ. и вступ. заметка Ю. Гаухман // Евреи в культуре русского зарубежья. Т. 4. Иерусалим.

Гуль Р. 2001. Я унес Россию. Т. 3. Россия в Америке. М.
Добровольская Ю. 2006.

Post Scriptum: вместо мемуаров. СПб.

Яновский В. 1983. Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк.

Demidova O.R. 2006. Russian-Jewish Paris in Russian-Jewish New York: Forming a new Émigré Capital: <http://www.crjs.ru/en/resources/articles.php?parentid=4&artid=9>